

Максим Эрштейн

КРОССОВКИ АДИДАС

*Сергею Романову, моему ленинградскому
однокурснику, который приперся однажды на
учебу в девяностом году в недосыгаемых для нас
тогда волшебных кроссовках Adidas Torsion.*

С этим стариком я познакомился в Христианском квартале старого Иерусалима ранней весной то ли девяносто третьего, то ли девяносто четвертого года. Мы неожиданно наткнулись друг на друга в предрассветный час в узком переулке, ведущем прямоком к площади Храма Гроба Господня. Старый город весь изрезан вкривь и вкось такими тесными проходами и пролазами, зажатыми между налезавшими друг на друга зданиями неясной, смешанной архитектуры разных эпох. Объединяет эти здания лишь одно: все они неизменно облицованы местным иерусалимским камнем, изначально песчано-белым, но в реальности всегда покрытым серым налетом копоти и пыли. По улочкам старого города, как по артериям, днем и ночью стекается к религиозным реликвиям и памятникам многонациональная, разношерстная, но единая в своем фанатичном порыве увидеть все своими глазами, экзальтированная, оголтелая туристическая братия. Впрочем, есть все-таки несколько часов в месяц, когда и этим улочкам перепадает немного отдыха и тишины и когда можно спокойно пройти по ним от начала до конца, не встретив ни единой живой души. Такое бывает с пяти до шести утра в те редкие дни, на которые не приходится никакого религиозного праздника, когда паломники и туристы еще не проснулись, а уборщики уже закончили свою работу.

Я в те далекие студенческие годы подрабатывал охранником в музее Давида, что возле Яффских ворот; мои ночные смены заканчивались в восемь утра, а в половине шестого я должен был ходить в одну маленькую пекарню в арабском квартале и приносить оттуда свежие круассаны и бублики по заказу музейного кафе. Те, кто жил в Иерусалиме в девяностых, знают, что на кухне любого мест-

ного ресторана, будь то французский, испанский или какой другой, поварами всегда были арабы. Поэтому круассаны, гаспаччо и другие гастрономические изыски здешнего меню, неизменно отдавали плотной арабской манерой и выделкой: круассаны сильно пахли оливковым маслом и заатаром, а гаспаччо мало отличался от сочной душистой шакшуки. Я, однако, эти местные круассаны обожал и частенько съедал один по дороге и еще один уже в музее, на моем рабочем месте, запивая его прекрасным арабским кофе — это было единственным радостным эпизодом моей, в целом мало-приятной ночной вахты.

Сами же прогулки в пекарню по сумеречным улочкам старого города скорее утомляли и раздражали меня, чем бодрили, — я быстро привык к тому, что хожу по живой истории, забыл и думать о том, что здесь когда-то точно так же ходили в харчевни римские легионеры, что с тех пор эти переулки мостили новыми булыжниками уже десятки раз, что чугунные решетки на окнах и греческие арки — это отголоски древних, ныне забытых укладов жизни и архитектурных стилей, что паломники со всего мира едут сюда, а многие мечтают, но так никогда и не попадут сюда. «Пусть себе мечтают — в мечтах оно всегда возвышенной и прекрасней», — даже так думал я порой. «Пусть не знают, что здесь и туалета-то общественного не найти и что им, возможно, придется справлять нужду на стены, видевшие Александра Македонского, Кира Великого и Иисуса. Пусть не знают, что солнце согревает эти мостовые всего двадцать минут в день, а догадаться о рассвете здесь можно, лишь обратив внимание на то, как розовеют окна и карнизы верхних этажей. Пусть не знают, что на этих древних улицах не происходит, на самом деле, ничего древнего — здесь пьют кока-колу, носят джинсы и разглядывают дешевые сувениры, в точности, как и во всем остальном мире».

Итак, одним промозглым мартовским утром я, возвращаясь в башню Давида из арабской пекарни, вдруг налетел на изгибе улочки на жестяную тачку, доверху наполненную черным жирным каменным углем. Разного размера и формы, видимо, наколотый на скорую руку, уголь слоился и блестел при свете оказавшихся здесь настенных фонарей. Помню, как вид этой тачки с углем поразил тогда меня — словно история, та самая, которая давно канула в прошлое, которой мне поначалу так не хватало здесь и которая уже

напрочь вышла у меня из головы, вдруг ожила и дернула меня за рукав. Когда я вообще видел в жизни такую тачку с углем? Никогда! Тачку держали за рукоятки две жилистые морщинистые ладони; прошло секунд десять, не меньше, прежде чем я сумел оторвать взгляд от угля и рассмотреть в подсвеченном сумраке хозяина этих ладоней. Передо мной стоял бледный худой старик в сером хитоне, еще крепкий, хотя и совершенно седой. Из полутьмы озабоченно и удивленно выглядывали его светлые, видимо, голубые глаза; на левой щеке был вытатуирован крестик. Старик был, вне всякого сомнения, русский — по выражению лица, какое было у него, в те времена можно было безошибочно определить наших земляков. Он был не просто русский, как многие местные эмигранты, — было что-то в его виде исконно-русское, настоящее; он наверняка совсем недавно приехал сюда из России и не был, без сомнения, ни эмигрантом-репатриантом, ни туристом. Я очень соскучился тогда в Израиле по настоящим русским лицам и был несказанно рад такой встрече.

Оба мы стояли в замешательстве, разглядывая друг друга и не зная, как разойтись; старик с опаской смотрел на мою официальную форму охранника и ожидал, видимо, какой-то инициативы с моей стороны; я же не желал так просто расхотиться с ним — меня снедало любопытство и желание познакомиться с таким необычным путником.

— Здравствуйте, я чуть не опрокинул вашу тележку, извините, — наконец нашелся я, не двигаясь, тем не менее, с места.

— Ничего, бывает, — проговорил старик с облегчением, смекнув, что мое отношение к нему не официальное и форма моя не сулит ему никаких разбирательств. Не дождавшись, что я уступлю ему дорогу, он слегка развернул тачку, приподнял ее и тронулся, обходя меня, в дальнейший путь.

— Подождите, что-то я вас раньше здесь не видел. Давно вы здесь? — попытался задержать его я.

— Третьего дня, — отвечал он, бросив косою взгляд на меня.

Нехороший был этот взгляд, недружественный какой-то. По-русски здесь не так уж и часто говорят, и я ожидал какой-то более приветливой реакции с его стороны. Однако старик неумолимо двинулся дальше и прошел мимо меня; мне пришлось развернуться и догнать его двумя быстрыми шагами.

— Скажите, а откуда у вас каменный уголь? Я здесь работаю уже полгода и никогда не видел такого угля. Где вы его взяли? Зачем он вам, если не секрет?

Я, конечно, смущался своей наглости и навязчивости, тому, что я как будто пользуюсь своим служебным положением, расспрашивая его, ведь он явно не желал идти на контакт. Он опять скользнул по мне то ли равнодушным, то ли неприязненным взглядом и, не останавливаясь, процедил:

— Топлю. Углем топим. Холодно здесь ночью.

Тем временем уже почти совсем рассвело; я разглядел моего собеседника получше — он был, похоже, не так уж и стар, лишь абсолютная седина была у него совсем старческая; она придавала какой-то выцветший оттенок благородному выражению его лица. Аскетическое одеяние и глубокие, устремленные в себя глаза выдавали в нем человека, видимо, посвященного чему-то, одержимого какой-то целью, идеей. Передо мной был, скорее всего, религиозный паломник или гость одного из многочисленных местных монастырей; я пока еще не знакомился здесь с такими персонажами.

— Послушайте, хотите круассан? У меня их много, целый мешок, я их несу на работу, в музей, и могу вас угостить, — предложил я старику.

Он остановился и с заметным усилием опустил тачку. Мне стало совсем стыдно. Повернувшись ко мне, он, хотя и с тем же оттенком неприязни, что и прежде, но в целом беззлобно, примирительно посмотрел на меня, словно прощая мне мою назойливость. Твердо, словно оглашая окончательный приговор, он сказал мне:

— Я Русский Человек.

С этими словами он уже прочно взялся за тачку, зная, что разговор закончен. Я тоже это знал и стоял, пораженный этим вердиктом, глядя удаляющемуся старику вслед.

Вечером того же дня я сидел за столом в студенческом общежитии и заново переживал эту встречу. «Он русский человек, ишь ты подишь ты, — думал я. — А я, конечно, еврейская морда. Кто же я еще для него? Ну конечно, гусь свинье не товарищ. Надо же, какой все-таки удивительный тип! Но что за взгляд такой странный был у него?» — пытался сообразить я и вдруг меня осенило — это была Брезгливость. Он брезговал мной — ни больше, ни меньше! Ни разу на тот момент, к своим двадцати годам, я не испытывал

такого отношения к себе, ни в родном Ленинграде, ни в неродном Иерусалиме.

Впоследствии подобные происшествия периодически, хотя и редко, случались со мной, и всякий раз в общении с людьми, которые были на первый взгляд невероятно симпатичны мне. Расскажу вкратце об одном таком случае, который произошел лет через пятнадцать после этой иерусалимской истории. Дело было где-то в европейском аэропорту, когда я сидел за одним столиком с русским моряком, кажется, помощником капитана грузового судна; он летел куда-то в Гибралтар по особому морскому паспорту, чтобы уйти в полугодовое плавание. Я тогда тоже пытался разговорить его — ну нравятся мне такие цельные, глубокие и отстраненные натуры, у которых все эти качества на лбу написаны. Такие натуры возрождают во мне веру в человечество, и я всегда хочу как-то соприкоснуться с их духом, с их миром, как-то узнать их: ведь это страшная редкость — такие люди, и не на них ли мир держится? Я всегда хочу понравиться им, хочу быть принятым ими, принятым в их особую духовную касту устремленных в вечное, в трансцендентное, отрицающих мирскую суету, живущих иным. И что же? Русский моряк окатил меня тогда такой же брезгливостью, не стал общаться со мной, хотя мы ждали вместе рейса несколько часов, были буквально втиснуты за один столик в кафе и даже разойтись по сторонам в той давке не могли. С годами я пришел к ужасному заключению: несмотря на всю их глубину, все такие люди — антисемиты. Без всяких оснований, без личного опыта, просто — антисемиты. Это русское коллективное бессознательное, в котором виноваты мои далекие предки — ростовщики, ссужавшие дворянам деньги и управляющие поместьями, дравшие с крестьян шкуру и заставлявшие тех работать на барина без продыха. А то, что мои далекие предки занимались этим не по своей воле, то, что им было отказано законом в обычных профессиях и им не оставалось ничего другого, чем заниматься всем этим, — этого народная память не знает и не хранит. Самые глубочайшие и величайшие русские люди, достойные бесконечного восхищения, были антисемитами и винить их в этом бесполезно, надо просто принять это как данность и не обижаться за это на них. И стойчески принимать, что я для них — просто еврейская морда (жид и делец, кто же еще я могу

быть?) и что общаться они со мной по душам не будут. Хорошо, что мне тогда отказал в общении всего лишь какой-то моряк, а вот, не дай Бог, жил бы я в другие времена и мне бы отказал в общении Достоевский — тогда бы я был уязвлен до смерти.

Но сейчас я возвращаю свое повествование к тому вечеру в студенческом общежитии, когда я осознал, что мной побрезговали за то, что у меня еврейская физиономия. Пока я осмысливал это вопиющее событие, сокрушаясь, что даже самые глубокие люди часто судят по внешности, ко мне со своей тарелкой подсел мой сосед Офер, симпатичный прикольный израильтянин, — мы часто ужинали вместе, обсуждая злобу дня.

— Утомили вы меня, русские, — весело начал подначивать он меня, — ну чё вы сюда понаехали? Здесь и для нас-то места мало. Ты заметил вообще, что ты забрал последние котлеты из холодильника? Мог бы и мне оставить хоть одну.

Офер был прав — я сожрал большинство из наших совместно пожаренных котлет. Но я вдруг завелся оттого, что он назвал меня русским, и выдал ему то, что давно уже хотел сказать, но как-то сдерживался.

— Послушай, Офер, сабра ты мой ненаглядный, ты уже достал на лекциях вскакивать и кричать профессору, как сегодня: «Кто тебе сказал, что это решается таким методом?» Офер, это университет, и так вопросы не задают.

— Яша, у нас все студенты так вопросы задают, разве ты не заметил? Это тебе не Россия, ты тут не командуй, как и что нам делать. Мы заплатили кучу денег за учебу и будем спрашивать, что хотим и как хотим.

— Ну так вы меня все и достали, израильтяне гребаные. Вы что, не понимаете — это же профессор! Где ваша скромность, где сдержанность, где уважение к нему, к другим студентам?

— Скромность? А скажи-ка мне, Яша, зачем она нужна? На фига она? Как она тебе в жизни пригодится? Как ее можно на хлеб намазать?

Я хотел ответить ему и вдруг понял, что не могу. А действительно, чем хороша скромность? «Ни хрена себе — нам вбили в совке, что скромность — это благо, а я не понимаю, почему это благо. Так, может быть, обманывали нас в школе, в институте, в книжках, что

скромность — это хорошо? Или это лично я ни хрена не понял? Вот ведь жопа-то какая», — думал я. Ничего я тогда Оферу не ответил. Мне было совсем тошно. Кто я вообще, где я? Для кристально русского — еврейская морда, для настоящего израильтянина — русская морда. Что я на самом деле понимаю в жизни? То, во что я верю, то, чему меня научили в России, — это вообще правильно?

Это сейчас, по прошествии многих лет, я уже знаю, чем хороша скромность и чем она отличается от зажатости, стеснительности, вбитой в нас, советских детей восьмидесятых. Интересно, осознали то же самое Офер? Сомневаюсь. Но в тот вечер в общаге я был полностью разбит и уничтожен. «Да пошли вы все, — думал я перед сном, — уеду обратно в Ленинград, там я всегда был своим и никто меня не упрекал, что я какой-то не такой».

Через день я снова работал в ночную смену в музее Давида и опять, возвращаясь из арабской пекарни, увидел того же старика — на этот раз я лишь успел издали заметить, как он открыл калитку и спустился во двор какого-то здания; то был греческий монашеский приют — чего-то подобного, конечно же, и следовало ожидать. Я к тому времени уже вполне остыл от унижения и почти не возвращался в мыслях к этому русскому старику, было и без того, над чем подумать — надвигались промежуточные экзамены, да и другая моя подработка официантом в ресторане скоропостижно закончилась и надо было искать новую. Греческий же приют лишил меня последнего любопытства, подтвердил мою догадку о происхождении этого старика, и я поставил для себя в этой истории точку. «Если встречу его еще раз, просто пройду мимо», — так решил я, и инцидент с того момента был для меня исчерпан. Судьба, однако, распорядилась иначе, и пути наши с этим стариком еще пересеклись, хотя больше я его никогда не видел.

В тот самый день вечером произошло долгожданное для меня событие: я получил в охранной фирме аванс и взял оттуда последние пятьдесят шекелей на кроссовки Адидас. Я копил на них уже три месяца и давно присмотрел на арабском рынке лавку, где они стоили дешевле, чем в израильских магазинах. Мустафа, хозяин лавки, обещал придержать для меня пару Adidas Torsion; теперь

вся сумма была собрана, и я собирался наутро после следующего моего дежурства в музей купить, наконец, эти кроссовки.

Весь следующий день я пробездельничал — кто же начинает готовиться к экзаменам так сразу, не отложив это прекрасное дело на завтра? Офер, конечно, начал, но что с ними, израильтянами, поделаешь? Надо было зайти в универ, уточнить дату моего первого экзамена по предмету, который Офер в этом семестре пропускал; ходили слухи, что дата этого экзамена может сдвинуться. Надо было поехать поискать новую подработку официантом. Да много чего надо было, но заниматься всем этим было лень — ничего, кажется, срочного. Я решил, что займусь всеми делами завтра, уже в новых кроссовках, сразу после ночной смены, не заходя в общежитие.

И вот назавтра, в точности, как и было запланировано, я явился после музейной вахты в обувную лавку к Мустафе (сам он называл ее «бутик») и победно предъявил ему всю сумму.

— Ну вот, Мустафа, я же говорил тебе — в марте. Все, как договаривались. Вот тебе сто пятьдесят шекелей, держи.

— Прекрасно, Якуб, русские слово держат. Вот твои кроссовки. Я хочу, чтобы ты был клиентом в моем бутике!

Я тут же скинул свою обувь и надел свои новые кроссовки. Adidas Torsion — это круто! Шел в них обратно счастливый. Мечта, какая-никакая, сбылась!

Возвращался я к Яффским воротам (возле которых была автобусная остановка, откуда я уезжал из старого города) по той самой улочке, и возле греческого приюта наткнулся на группу паломников в таких же серых хитонах, как у русского старика. Они стояли возле калитки и что-то оживленно обсуждали на незнакомом мне языке, размахивая руками и волнуясь. Я уже почти миновал их, как вдруг один из них, отделившись от всей группы, торопливо подошел ко мне.

— Извините, вы, кажется, работаете где-то здесь в охране? — обратился он ко мне на иврите. — Не скажете, что происходит с Храмом Гроба Господня, почему его вдруг закрывают на ремонт без всякого предупреждения?

— Закрывают? Я ничего об этом не знаю, — отвечал я.

— Так вы русский? — услышав мой русский акцент, спросил он меня уже на чистом русском языке.

— Да, я русский.

— Понимаете, я настоятель этого греческого приюта, у нас тут сейчас, кроме этих греческих братьев (и он указал на группу паломников), гостит один русский, из Самары. У него очередь на посещение Храма Гроба Господня на послезавтра, он специально для этого сюда из России приехал.

— А когда закрывают Храм? И надолго?

— Завтра закрывают, на месяц, кажется.

— Это такой седой старик с крестиком на щеке? Он из Самары?

— Да, это он. Глубокий верующий, настоящий христианин. Игумен монастыря где-то на Волге, под Самарой. Боже, что сейчас в России творится! У монастырей и церквей денег вообще нет. Они там всем Поволжьем деньги на билет собирали и жребий бросали среди десятка прихождений — кто поедет. Выпало ехать ему, отцу Даниилу. Он с утра, как узнал про Храм, весь черный ходит, убивается. Ему ведь уже в субботу обратно лететь. Ну, до свидания, всего вам хорошего!

Воздух в тот день, помнится, был какой-то особенный, понастоящему весенний. Ночью прошел дождь, по булыжным мостовым текли ручьи, свежесть струилась с неба и омывала лицо резкими выдохами молодого ветра, падавшего откуда-то с крыш. Весна вдруг затопила старый город, и все прочие чувства меркли по сравнению с захватывающим организм ощущением новорождения природы. Я шлепал по мокрым булыжникам в своих новых кроссовках, предавался тому беззаботному счастью, которое так легко овладевает человеком в двадцать лет, и не желал ни о чем думать. Но, к сожалению, рассказанное настоятелем приюта не на шутку опечалило меня и все-таки повергло в размышления. «Ну вот, пришла весна. А отцу Даниилу так не повезло. Вот облом так облом, и в такой-то день! И чего это вдруг Храм закрывается на ремонт?» — думал я. На самом деле, Храм Гроба Господня тогда, в девяностых, часто стоял в лесах, как снаружи, так и изнутри — там постоянно что-то переделывали. В общем, событие это вовсе не было из ряда вон выходящим. «Но почему именно сейчас? И кстати, уж не за гордыню ли наказан отец Даниил? Кто его знает, как это все вообще устроено? Может быть, если бы он не обидел одного еврейского юношу, то в Храме бы не назначили неожиданный ремонт?» — размышлял я. Настроение мое портилось все серьезней.

Одному — кроссовки, другому — Храм Гроба Господня, каждому — свое, это было бы справедливо. А так — у меня сегодня праздник, а у старика — горе. Кисло как-то. Несправедливо все-таки.

Вскоре я уже ступил на площадь Храма Гроба Господня — мой путь к Яффским воротам пролегал через нее. Это небольшая, двадцать на десять метров площадка, с трех сторон окруженная Бог знает какими зданиями, а четвертая ее сторона является стеной самого Храма. На площади вечно змеится очередь в этот Храм — там установлена заветная келья с гробом, одна из главных мировых христианских реликвий. Всякие байки ходят о чудесах, происходящих подле этого гроба; говорят, например, о том, что свечка над гробом не обжигает палец. Очередь в эту келью может занять несколько часов, а то и дней; иногда она идет по записи или по расписанию.

Сегодня на площади было ожидаемо болеелюдно, чем обычно. Разноплеменная, возбужденная толпа гудела на разных языках о том, что Храм завтра закрывается и обо всех сопутствующих этому событию неприятностях. Счастливики, которым выпало посетить Храм сегодня, сияли и волновались; ближе к середине очереди на лицах уже были тревога и неуверенность; люди позади были в отчаянии. Я наблюдал все это, продираясь через очередь на другую сторону площади. Вдруг кто-то в самой голове очереди поднял руки вверх, повернулся к толпе и громко закричал по-русски:

— Храм завтра закрывается на месяц. Кто хочет успеть зайти сегодня — я продаю свою очередь за сто пятьдесят шекелей. Сто пятьдесят шекелей!

Не сразу до меня дошел смысл этих слов. Я еще продолжал по инерции уходить с площади, но ноги уже не шли, а сердце екнуло и остановилось. Подняв ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей на соседнюю улицу, я осознал — не ступить мне на эту лестницу. Никак. Нечего тут долго описывать и объяснять мое состояние, у меня не было никаких сомнений и колебаний, я за одно мгновение все взвесил и понял, что уйти НЕЛЬЗЯ. И сразу же какая-то сила развернула меня и потащила прямоком к голове очереди, где уже спорили за право перекупить счастливое место несколько русскоговорящих туристов. Наглость моя умножилась в пять раз, и, растолкав народ, я громогласно заявил продавцу места, русоволосому мужчине средних лет, что я работаю здесь в охране и

продавать свое место в очереди не разрешается. Предъявив свое удостоверение охранника музея (которое было напечатано на иврите и, конечно же, не имело никакого отношения к Храму Гроба Господня), я отозвал этого товарища в сторону и тихо, но твердо заявил ему, что я сам покупаю его место в очереди. Как это все у меня тогда получилось проделать — до сих пор не понимаю, но вид у меня был, видимо, столь грозный (и к тому же, форма охранника), что я не встретил никакого сопротивления. Я залез в карман, где еще с утра заветно хрустели три пятидесятишекелевые купюры и с ужасом обнаружил, что купюр нет. Потом взглянул на свои кроссовки и очнулся. Денег-то у меня больше не было! Услышав про продажу места в очереди, я напрочь потерял чувство реальности, а теперь, обретя его вновь, крепился перед незадачливым туристом, стараясь выглядеть все так же уверенно и безапелляционно. Столько денег у меня на данный момент в банке не было, и я озвучил единственно возможное решение строго, как только мог:

— Я вам заплачу сто семьдесят. Но за двадцать лишних шекелей вам придется пройти со мной в лавку на арабском рынке, там вы получите еще сто пятьдесят.

В кошельке у меня оставались последние двадцать шекелей, я достал их и протянул туристу. Тот согласился немедленно — все же форма и удостоверение блюстителя правопорядка безотказно действовали тогда на нашего человека. Он попросил меня вместе подождать его жену, пока та не вернется из лавок. Мы стояли и переговаривались о чем-то, наверное, совсем незначительном, потому что я совершенно не запомнил, о чем. Даже не помню, спрашивал ли я его о том, почему он продает свое место. Мной владело тогда нетерпение.

Тем не менее, пока мы ждали возвращения его жены рядом с волнующейся очередью, я услышал два занятных разговора, которые остались у меня в памяти. Прямо рядом с нами рассказывали друг другу байки два пожилых русских туриста, которые недавно заняли место в очереди, не надеялись, на самом деле, попасть в Храм и просто коротали здесь время, ожидая приятеля.

— Знаешь, в чем разница между человеком и соком? — спрашивал один другого.

— Ну, и в чем же?

— Сок вначале бывает просветленный, а затем уже светлый. Человек, же, наоборот, бывает вначале светлый и только потом просветленный.

Несколько поодаль стояла интересная смешанная группа — я слышал там русскую речь с сильным британским акцентом. Говорили что-то о загадочной русской душе.

— Нецивилизованные мы, Майкл, в отличие от вас, дальше сам догадайся, подумай, что такое цивилизация, — объяснял кто-то.

— Ну, подумал. Все равно не понимаю, — отвечал Майкл.

— Русская душа сформирована непосредственно миром, поэтому она загадочна, как сам мир. Западная душа сформирована цивилизацией, поэтому она прагматична и предсказуема, как сама цивилизация. Ясно тебе, Майкл?

Наконец подошла жена моего туриста, и мы все вместе направились в бутик Мустафы. По дороге я снял кроссовки, запихал их обратно в коробку и надел мою старую обувь. Мустафа, к счастью, был на своем месте. Я попросил туриста и его жену подождать на улице, а сам зашел в лавку, протянул Мустафе коробку с кроссовками и попросил вернуть деньги. Он очень удивился, внимательно посмотрел на меня, достал кроссовки и бросил на них быстрый взгляд.

— Послушай, Якуб. Кажется, Яков по-вашему? Ты что, смеешься надо мной? Во-первых, я деньги не возвращаю. Купил — значит, купил. Во-вторых — ты уже носил эти кроссовки, так? Я сам видел, как ты их надевал.

Вот уж кому было совершенно наплевать на мою официальную форму охранника — так это Мустафе. Он, конечно, не обязан был отменять покупку и не собирался этого делать.

— Да, я носил их. Все правильно, Мустафа. Но я тебе обещаю, что за неделю я выкуплю их обратно. И еще двадцать шекелей добавлю. Понимаешь, я должен отдать деньги вот этим русским туристам. Очень должен.

— Яков, эти кроссовки уже ношенные. Посмотри на них. Я не смогу их продать. Ты за кого меня принимаешь? Таких, как ты, обманщиков здесь пруд пруди. Пропадешь, и где тебя искать?

— Мустафа, я не пропаду. Давай вот что — я оставлю тебе мой студенческий билет. Без него мне никак. Хочешь — и удостове-

ние личности оставлю. Сам знаешь — восстанавливать такие утерянные документы — радость небольшая и недешевая.

Мустафа смотрел на меня с разочарованием, но раздражения, злости в его взгляде не было.

— Мустафа, помоги мне. Я прошу тебя. Мне сейчас нужна твоя помощь.

Он посмотрел на меня внимательно еще раз, достал деньги и профессионально упаковал кроссовки в коробку.

— Хорошо, Якуб. Только ради моего старшего брата, который учился в семидесятых в Москве. Но я жду тебя здесь в течение трех дней с деньгами. Договорились?

— Договорились!

— Давай свой студенческий билет. Верну с кроссовками.

Он протянул мне сто пятьдесят шекелей, и я тут же их отдал русским туристам, в обмен на официальный номерок в очередь.

К греческому приюту я летел на крыльях. Получилось! Сработало! Адреналин зашкаливал. Экзамен, кажется, еще только через три дня, на него без студенческого не пустят, но за три дня найду где-нибудь деньги и верну его вместе с кроссовками. Молодец Мустафа!

У приюта я попросил позвать настоятеля и вручил ему номерок:

— Вот, держите, это место в очереди в Храм на сегодня. Отдайте, пожалуйста, отцу Даниилу и пусть поспешит.

Настоятель так же внимательно посмотрел на меня, как и Мустафа пять минут назад; затем, ни слова не говоря, исчез во дворе приюта.

Я же побрел к своей остановке, снова через храмовую площадь, через свой музей. Физические силы покидали меня, зато снова вселился весенний восторг; радость победы звенела в моей голове. По дороге в общежитие опять было чувство, что я здесь вообще ни при чем, что все это совершила какая-то сила. «Может, это сила отца Даниила? Ай да отец Даниил, ай да сукин сын. Чудеса, — думал я, — но сила правильная, хорошо, что все так вышло».

Закончилась эта история не без сюрпризов, но и не без везения. Оказалось, что экзамен перенесли-таки, и он будет уже завтра; шансов найти деньги и вернуть мой студенческий до завтра не

было никаких. Поэтому я пропустил экзамен, но, по правде говоря, я был совершенно не готов к нему и сдал бы все равно плохо. Деньги мне удалось занять на удивление легко у приятеля, который недавно освободился из армии и получил от нее дембельское пособие — оно в Израиле большое, несколько тысяч шекелей. Через неделю была переэкзаменовка — я сидел и штудировал уравнения математической физики. Мой любимый предмет, между прочим. На переэкзаменовку я шел уже подготовленным. В новеньких кроссовках Адидас.

